

А. СЕРАФИМОВИЧ



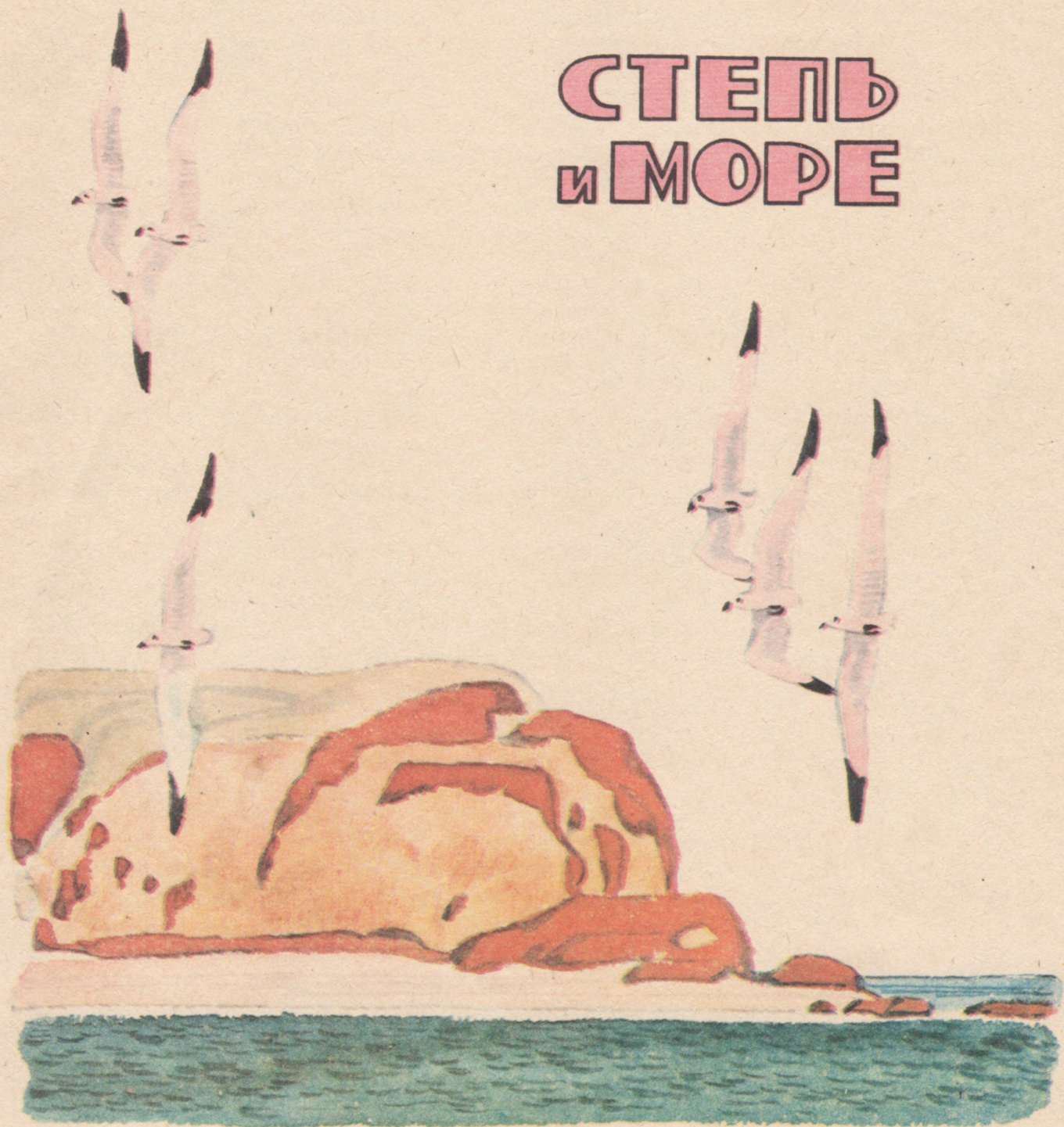
**СТЕПЬ
и МОРЕ**



Художник В. ЮДИН

А. СЕРАФИМОВИЧ

СТЕПЬ и МОРЕ



САРАТОВ • ПРИВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • 1984



Всё как было: ослепительно белеют у воды две мазанки, чуть пошевеливаясь, мерным сверканьем сверкает морская гладь, белеют намытые с ракушками и рыбьей чешуёй пески.

Вдоль берега стоят пустынные истрескавшиеся глинистые обрывы. А за обрывами — жаркая бескрайная степь.

Маленькое колючее солнце смотрит на море, на степь, на шевелящиеся на кольях сети, и с бортов опрокинутой у самой воды лодки каплют чёрные слёзы.

В тени её сидит, раскрыв клюв и развесив крылья, ворона, а в неувовимо-горячем, почти без синевы, небе медлительно плавает коршун.

Голубые ставни у мазанок плотно закрыты, закрыты и двери. Никого. Одинокое шевелят по соломенной крыше слабую сквозную тень вербы. Ни пристроек, ни сарайчика, — пусто, бесхозяйственно, только вёсла стоят, прислонённые к стене.

В степи по балке раскинулась слобода: белеют хаты с причёсанной соломой на крышах, виднеются сады с объединенными червем яблонями; огромные вербы в левадах покрывают тенью степную тинистую речушку, а в ней лежат свиньи, белеют гуси.

В слободе тоже никого, наглухо закрыты ставни, — народ в степи на работе. Повсюду видна забота, хозяйственность — сарайчики, хлева, курятники. На затрушенных соломой дворах рогато торчат плуги, полинялые, истрескавшиеся от солнца веялки, конные молотилки, арбы. Чернеют запасные стога, и куры с лёгким разговором роются в навозе.

Далеко над морем длинно тянутся пароходные дымы; как букашка, чернеет рыбацкая лодка с обвисшими парусами.

Лодка медленно ползёт к берегу, где, как два пятнышка, белеют мазанки. На носу мерно, откидываясь и запрокидывая взмокшую от пота голову, с подёргивающимся от напряжения лицом, гребёт мальчик лет двенадцати, без шапки, с черными полопавшимися от загара ногами, с бронзовым телом, которое показывает разошедшаяся на груди ситцевая в горошинках рубашка, — гребёт, напруживаясь, как взрослый.

Ближе к мачте, с тёмными пятнами пота на прилипшей к спине рубахе, с выбившимися из-под сбившегося платка волосами, гребёт баба, нестарая, с заострившимися чертами на разморённом, потном лице. Под солёным мок-

рым пологом зеваает набросанная кучей рыба, а на носу темнеет быстро сохнувшая наваленная груда сетей.

Баба оглянулась на тоненько белеющие пятнышки мазанок:

— Чего-сь-то гребёшь, гребёшь, а всё столько же.

А мальчишка строгим басом:

— Будет тебе, мать, не оглядывайся. А то до вечера не дотянемся.

И снова две пары вёсел мерно сверкают, с них торопливо падают звонкие капли, и бурлит зелёно-голубоватая вода, оставляя пенистый убегающий след.

Море да слепящий блеск, да мерно откидывающиеся со взмокшими пылающими лицами фигуры, да два белых пятнышка на смутной полоске берега.

Только когда постаревшее, красное, расплывшееся солнце, такое незлобивое и бессильное теперь, коснулось синеющего края воды, лодка с тяжёлым хрустом глубоко врезалась носом в мокрый песок.

Выскочил мальчишка, вылезла баба, оправляя платок.

На берегу, говоря о проснувшейся жизни, курились синим пахучим дымком кизяки под навешенным котелком, в котором уже весело закипала вода. Бабка суетилась возле, старая, жилистая, длинношеяя, — всё собирала для костра сухой камыш и осоку.

Целый выводок ребятишек ходил за ней, оставляя маленькие следы на белом песке, — тоже собирали. В одной мазанке голубые ставни были открыты, и глядели маленькие окна с поднятыми стёклами. Только другая стояла тихо и безжизненно с забитыми ставнями, с заколоченными дверями.

Ребятишки с визгом побежали, забрались в лодку и, чирикавая по-воробьиному, начали выбрасывать на песок всё ещё не уснувшую, трепетно вскидывавшуюся рыбу.

Мальчишка цыкнул на них, достал из кормы кисет с табаком и стал загибать собачью ножку. Прежде мать вытянула бы его за это по спине веслом или кочергой, и, чтобы покурить, он забирался куда-нибудь в тёмный уголок, а теперь затягивался, длинно сплёвывая, как отец. И, как это делал отец, предоставив усталой матери и детям лодку, пошёл не спеша, вдавливая босые ноги в песок, — это после отца всегда оставались глубокие следы.

Солнце зашло.

На море — тихий, отдыхающий покой. Едва уловимые стекловидные морщины слабо всплывают на песок. Незаметно рождаются белые звёзды, и из глубины на них смотрят такие же бледные и слабые.

Пахнет солёной водой, прелыми водорослями, а из степи сладко наплывает запах чабора и приносит дремотную перепелиную дробь.

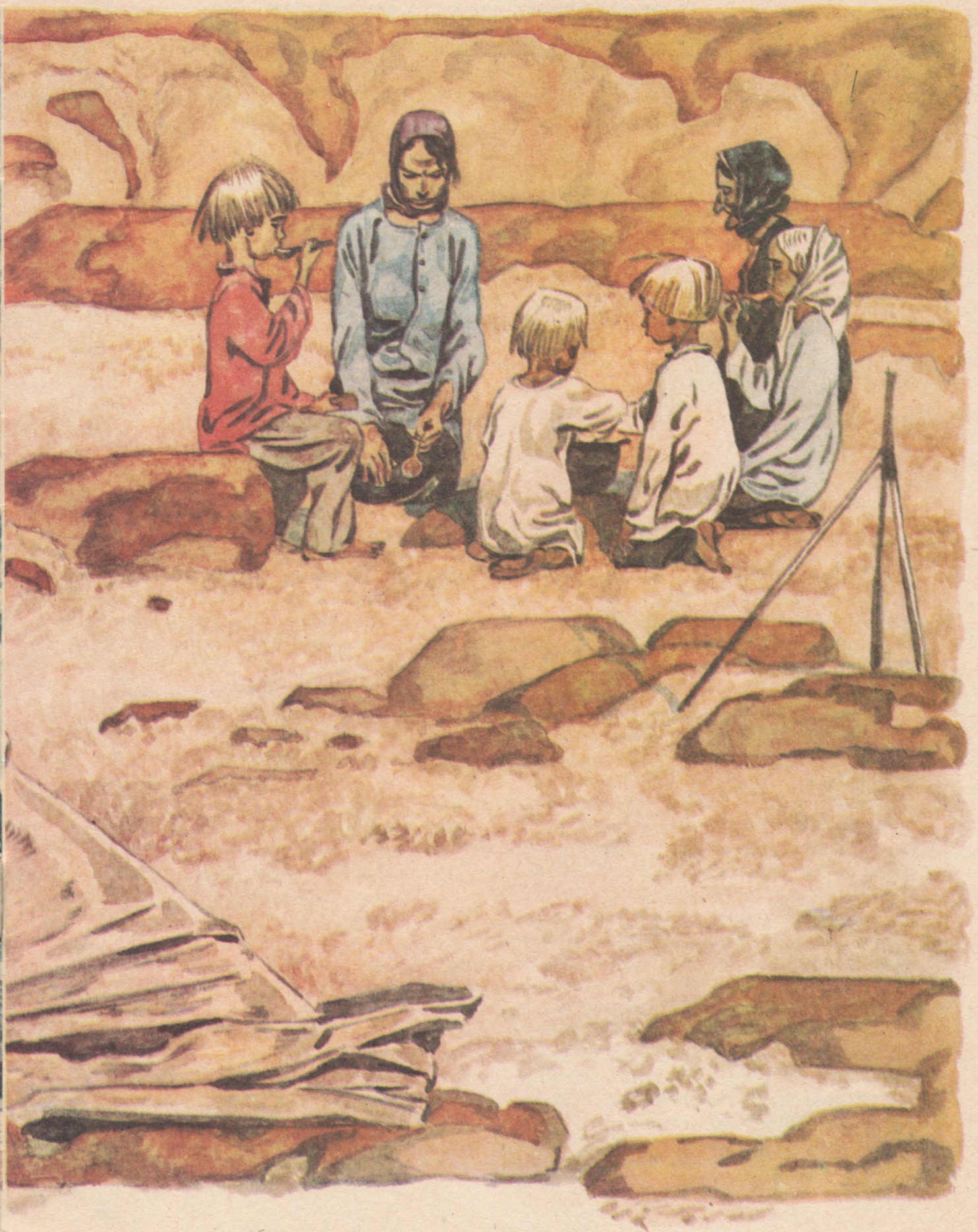
Все обсели котелок и вкусно таскают деревянными ложками уху, в которой белеет разварившаяся рыба.

Самый маленький, с выцветшими от зноя в белый лен волосами, уже положил головёнку на колени бабки, да и у остальных слипаются глаза.

— Чебак пошёл, — говорит толстым голосом мальчишка, — не сегодня-завтра сула и подсулок. Нонче табунок вытащили. Сети, вишь, не выварили. Ты чего же, бабка, смотришь?

— Куды же мне от детей... Утресь пошла в слободу картошки взять, ды староста говорит: «Разорять вас придем». Господи, и чего такое будет!..







Кряхтя и вздыхая, бабка подняла маленького и с усилием понесла на руках, а у него болталась свесившаяся головёнка.

— Пуцай явятся,— сказал мальчишка, собрав на переносице морщинку, и постучал, отряхивая, ложкой по краю котелка,— пуцай. Я им покажу от ворот поворот... Я их потяну за зёбра!..

— И чего такое будет,— всхлинула бабка и утёрла глаза уголком платка,— самого угнали, а тут ещё разор... Пошли спать, идолы!— закричала она сердито на детей.

Дети, поскрёбывая голову, потянулись к мазанке, а Манька, старшая, взялась мыть котелок и ложки.

— И письма давно нету — може, и убили.

Баба всхлинула.

Мальчик поднялся, посмотрел на золотые звёзды, которые вылезали из-за смутного тёмного моря, и сказал, как обыкновенно говорил отец после ужина:

— Спать надоть.

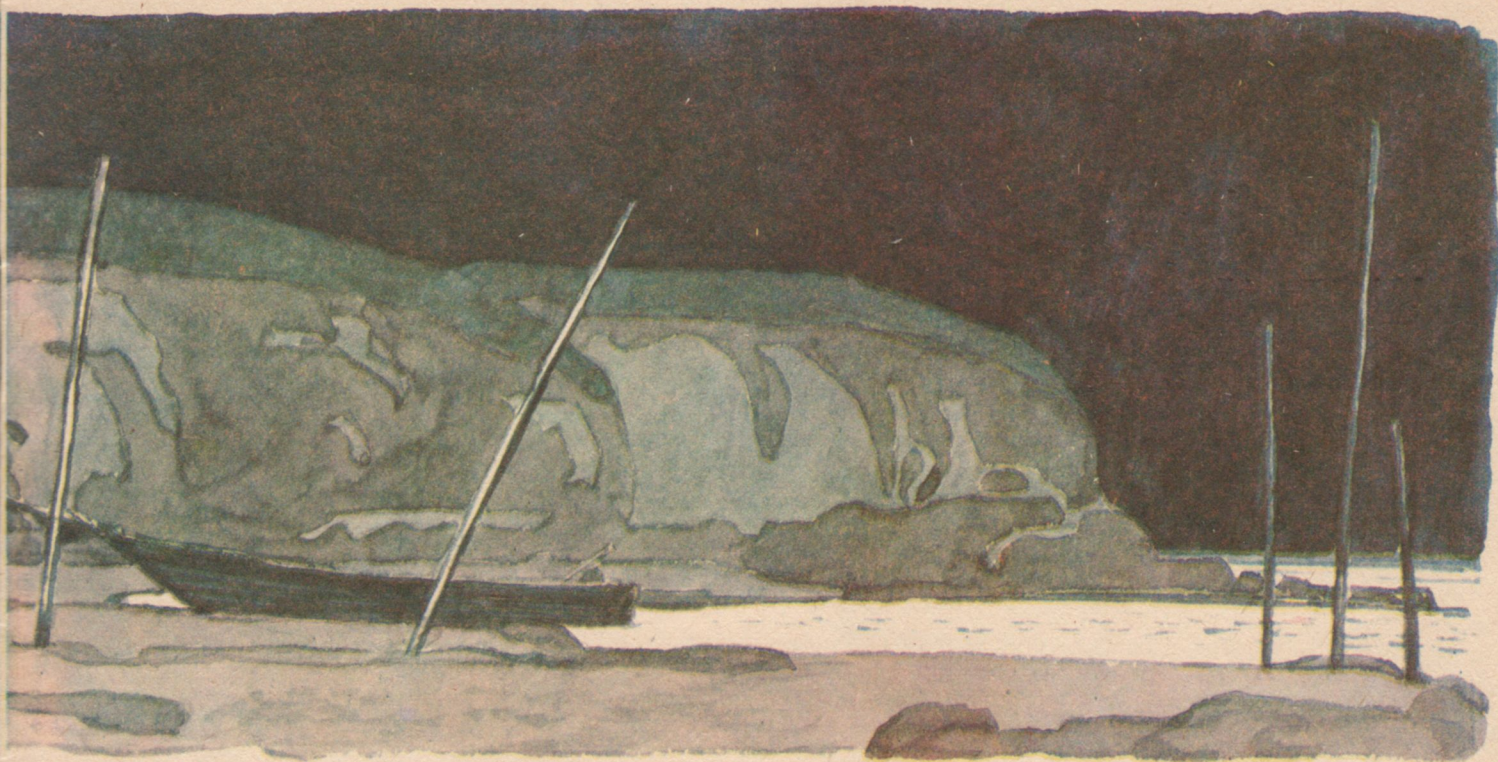
Мать с детьми и бабка легли в мазанке на полу, чисто подметённом, затрушенном от блох горькой полыньёю. Мальчишка достал в сенцах топор и лёг на берегу под лодкой, а топор возле себя положил.

«Если придут, старосте развалю голову...»

Не успел подумать, а староста тут как тут, да не один, а сотский, десятские, заседатель, понятые, бабы и девки,— эти поглазеть пришли.

Хотел вскочить Пахомка и развалить голову старосте, а топор — в десять пуд, рука к нему приросла, не шевельнётся. А староста говорит:

— Лежишь? Ну, и лежи.



И стали они делать то, что два раза делали на памяти Пахомки. И будто стоит отец, как и тогда стоял, и смотрит.

«И откуда отцу быть тут!»— думал Пахомка, и ему не странно, что тут отец.

И вдруг сладко потянуло чабором со степи, донесло перепелиный: подь-подеп... подь-подеп... И влагой потянуло с моря. И нет ни старосты, ни заседателя, ни отца. Знает Пахомка — снилось всё это, но, всё заслоняя, как из лёгкого тумана, выступает опять староста, заседатель... А потом опять всё пропало в черноте, заволокло крепким, молодым сном без сновидений.

Спят в мазанке бабы и дети, спит под лодкой Пахомка, а море не спит, смутно проступает берег, и всё так же сладко пахнет из степи чабором.

В степи тихо и спокойно, спит слобода, и смутно белеют по балке хаты.

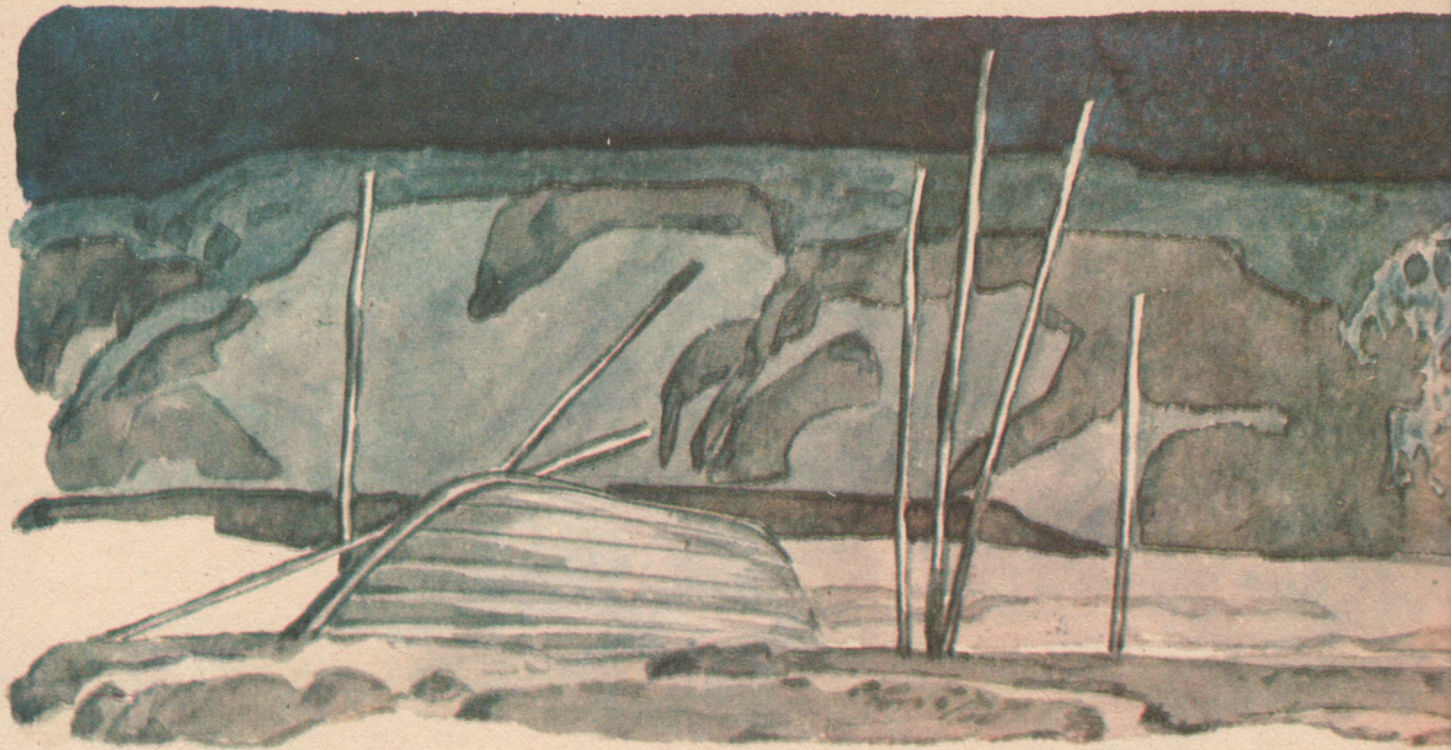
Лет десять назад пришёл сюда Василий, Пахомкин отец, с бабой, с матерью и с двухгодовалым Пахомкой, глянул вправо и влево по пустому берегу и стал с бабами класть из глины мазанку; вывели стены, печку, трубу, натаскали соломы, тряпья и стали жить. Василий пригнал лодку, привёз сетей, крючьев и в ведро и в непогоду пропадал на море.

А когда приезжал, бабы вываливали рыбу, потрошили, распластывали, вялили, солили, либо приезжали на дрогах скупщики и увозили рыбу, оставляя на песке следы от колёс.

Не было ни хозяйства, ни живности, ни пристроек, даже забора не было. Бабы не пекли хлебов, не возились с огородом, всё добывали в слободе, — туда несли рыбу, а оттуда — печёный хлеб, вишню, капусту, молоко, когда и свежинку.







Слободские из поколения в поколение пахали, сеяли, знали только землю и не любили и боялись воды. К голодранцам, поселившимся на их земле, на берегу относились презрительно.

А однажды на берег пришёл староста с мужиками. Мужики присели в тени мазанки, закурили, и староста сказал:

— Вот чего, Василий: сымайся и уходи.

— Как так!

— Так. Земля наша, а ты самовольно. Мы землю берегём.

— Брешете — бечевник по берегу казённый. Ваша земля вон в степе. Помолчали мужики, посидели, и староста сказал:

— Земля наша, а землю мы берегём. Сымайся со всем своим скарбом и уходи, куда знаешь.

А один мужик, поковыривая песок, сказал:

— Два ведра вина обществу поставишь — можно оставить на время.

Василий молча сложил тугой кукиш:

— На-кось!

Мужики пошли, и долго в степи покачивались их широкие, крепкие хлебобобные спины. А через год в это же время приехал заседатель с рабочими, пришёл староста, понятые, прочли Василию определение суда, вынесли всё из мазанки и стали рушить. Выломали окна, двери, развалили стены, печи, трубу — и ушли, а над тем местом, где стояло пригретое жильё, лишь курево курилось.

Бабы сидели на большом красном, обитом жестью сундуке и голосили. В тряпье копошились ребятишки. Василий ходил по берегу, кричал на своих, дал бабе по затылку, потом спихнул на воду лодку и уехал смотреть сети.



Над сундуками, над тряпьем поставили из рогож шалаш и жили всё лето. А когда пришли чёрные осенние ночи и глухо зашумело в темноте море, Василий подрядил в слободе тех же мужиков, что приходили, и их баб, ночью на подводах привезли материал, земляные с навозом кирпичи в человеческий обхват, сложили стены, сбили печку, вывели трубу, и к утру над новой серой мазанкой уютно курился синий дымок; только не вставленные ещё окна и двери чёрно зияли.

Пришёл староста с понятыми, составил протокол, дело пошло опять в суд, а ребятишки всю зиму ходили с раздутыми носами, чихали и кашляли. Летом стены просохли, бабы их побелили, и опять далеко, гостеприимно белым пятнышком глядела мазанка в море.

Приехал как-то на лодке новый рыбац с бабой и ребёнком, поставил обок новую мазанку, стал рыбачить, а в море, маня уютом и покоем, глядели теперь две мазанки.

Через лето после судебной волокиты снова приехал заседатель с рабочими, пришёл староста, понятые, развалили обе мазанки и ушли, а в чёрную осеннюю ночь они обе опять выросли у самой воды на божьей земле, и опять рыбаки в погоду и непогодь ходили в море, а бабы возились с рыбой.

Так было до трёх раз.

В последний раз снова пришёл староста и сказал:

— Може, добром уйдёшь!

И опять к его широком, как ворота, ноздрям, откуда лезла шерсть, протянулся тугой, просмолённый, обветренный кукиш.

Снова начали дело, да война приостановила. Василий собрался, баба выла, как по мёртвому, ребятишки захлёбывались. Пахомка, моргая, глотал





слёзы. У дверей, загрузась колёсами в песок, стояли дроги, и парень, дожидаясь, скучно похлопывал кнутом по пыльным сапогам.

— Слухайся матерю, теперя тебе справлять всю работу, всю страду.

По обветренному, продублённому лицу ползли слёзы,— никогда не видал этого Пахомка и захлюпал носом.

С тех пор Пахомка за хозяина на берегу,— ходит в море, спускает, подымает сети, ставит крючья, а мать помогает, как прежде он сам помогал отцу.

Пахомка как будто раздался в плечах, голос окреп, стал хриплее, как у отца. Прежде, бывало, мать в сердцах огреет его кочергой либо коромыслом, а теперь он кричит на неё:

— Вон, глянь на суседев. То-то!

Сосед тоже ушёл на войну, а баба взяла девчонку за руку и пошла в наймитки. Мазанку заколотили.

И мать и бабка давно встали, возились по хозяйству. Когда солнце из засветившейся степи тронуло верхи верб, мать разбудила крепко спавшего Пахомку.

Недовольно вскинулся Пахомка,— отец, бывало, сам всех будил. Закричал на ребятишек, что вылёживаются, и принялся за выварку сетей. Потом конопатил лодку, потом приезжали скупщики, и он с ними резонился. А вечером положили в лодку хлеба, бочонок с водой, навалили на носу сухих сетей и пошли в море на ночь.

Было тихо и душно. Даже песок вода не лизала, а море и степь тонули в сухой сероватой мгле, как после пожарища.

Пахомка, откидываясь, работал вёслами. Пот градом катился по воспалённому лицу, и белые мазанки, всегда долго белевшие, когда уходили в море, сразу затянулись.

Когда медно-красное огромное солнце, сделавшись коричневым, опустилось не в воду, а во мглу, Пахомка, странно озираясь, сказал:

— Матка, ай на берег воротиться!

А мать, беспомощно опустив вёсла, тоже с распаренным лицом, еле раскрыв рот, сказала нерешительно:

— Как же быть-то: завтра скупщики к вечеру будут.

Снова вёсла стали глухо бурлить, толчками подвигая лодку.

Своего места, где плавали обрубки на якорях, не нашли и стали сыпать сети, где застала наступающая ночь.

Пахомка беспокоило, торопливо, то и дело срываясь, сыпал за борт сети и всё понукал мать, которая, надрываясь, с растрепавшимися косами, гнала тяжело волочившуюся лодку.

Вдруг стало легче дышать, и бесконечно заблестали в воде звёзды. А через секунду они задрожали, запрыгали в бесчисленных морщинах, и в снастях зашумело; у бабы затрепыхались концы платочка, а у Пахомки вздуло на спине рубаху. Потом опять бездонно во все стороны играли звёзды. Пахомка рвался, выкидывая сеть.

— Скорей, сынок, скорей!..

Шлёпнул тяжёлый якорный камень и обрубок. Пахомка схватился за вёсла, и от лодки, расходясь торопливо, побежали в обе стороны два жгута, уродуя и вытягивая попадающие в них звёзды.



Да, видно, поздно было: зашумело, загудело кругом, все до одной звезды в море пропали, а через минуту стало качать и хлестать через борт.

Пена во тьме смутно неслась, обдавая обоих. Стал было ставить Пахомка парус, мигом долетели бы, да не справился,— рвануло, выдернуло шкот из рук, и забилося, свистя и хлопая, огромное полотно. Лодку накренило, и она глубоко черпнула.

Когда ходил с отцом в бурю, в ветер, Пахомка ни о чём не думал, иногда спал, свернувшись калачиком под банкой, даже во сне чувствуя бронзового, как отлитого, человека, на корме отвалившегося на руль и державшего в железной руке дрожащий, как струна, шкот.

Пахомка, чувствуя себя маленьким, полез, кидаемый в лодке, к матери и закричал тоненьким, без хрипоты, голосом:

— Ма-атка-а!..

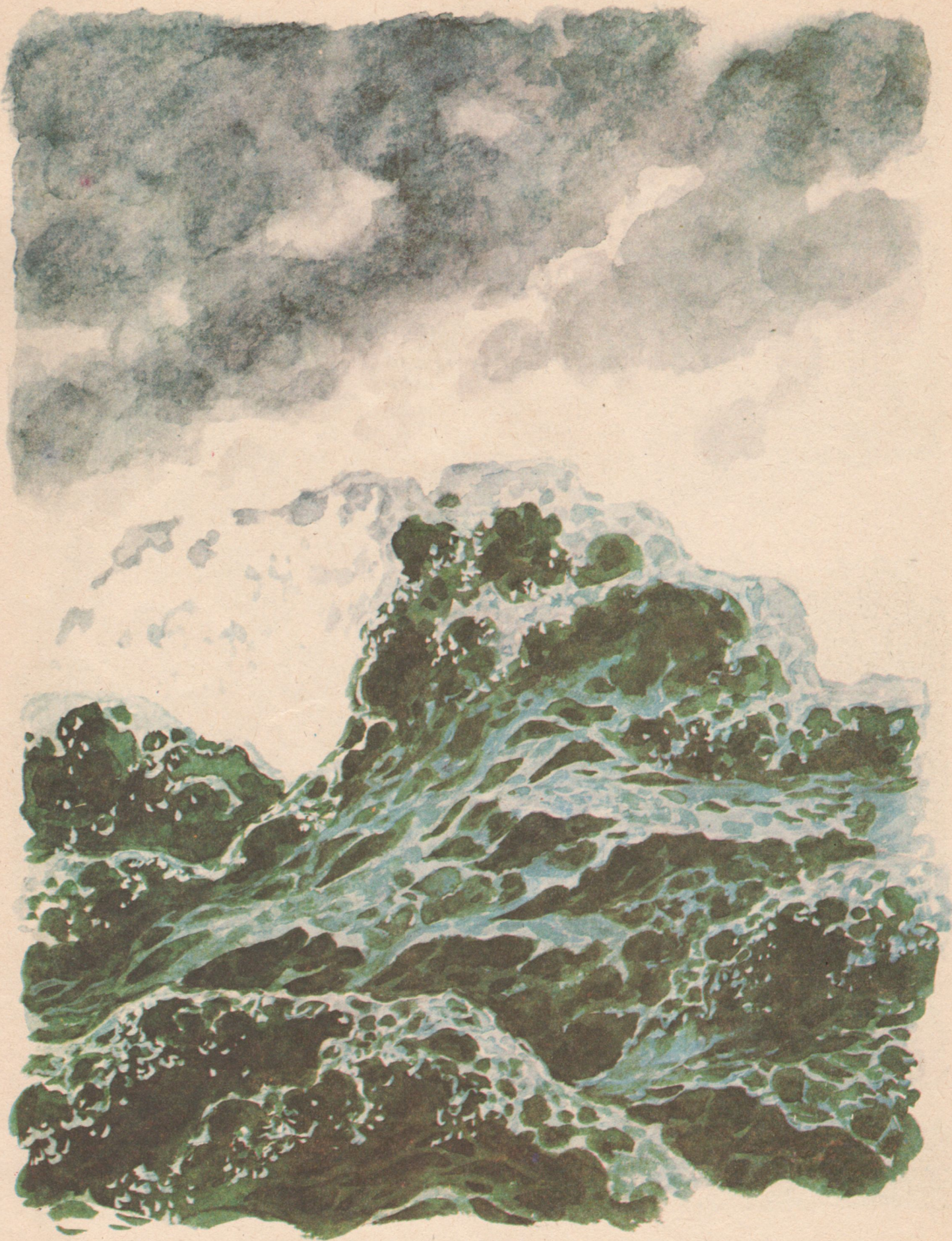
А мать металась, хватаясь то за руль, то за вёсла, и на секунду облепил лицо Пахомке сорванный с её головы платок.

Тогда Пахомка, вцепившись в борт, чувствуя, что в одном только спасение — в том, чтобы на корме, навалившись на руль, тяжело сидел тёмно-дублёный человек,— глотая солёную воду и не справляясь с выворачивавшей рвотой, закричал детским заячьим голосом:

— Ба-атя! Ба-атя!

Во тьме, смутно белея, крутилась и неслась пена, с визгом рвался в снастях ветер.







Для младшего школьного возраста

Александр Серафимович Серафимович

СТЕПЬ И МОРЕ

Редактор **О. Казакова**. Художественный редактор **В. Иванов**.
Технический редактор **Л. Борисова**. Корректор **И. Соколова**.

ИБ № 887. Сдано в набор 16.09.83. Подписано к печати 13.02.84. Формат 60×90^{1/8}. Бумага офсетная № 2.
Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 2. Усл. кр.-отт. 8,05. Уч.-изд. л. 2,283. Тираж
275 000. Цена 20 коп. Заказ 2899. Приволжское книжное издательство. Саратов, пл. Революции, 15.

Госкомиздат РСФСР

Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управления издательства, полиграфии и книжной
торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6.